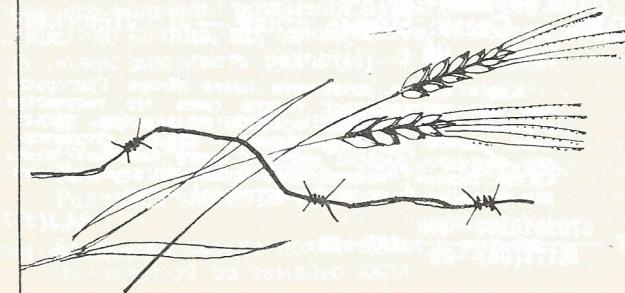


Игорь Григорьев

СТЕЗЯ

НОВЫЕ
СТИХИ



ПЕНИЗДАТ · 1982

СТЕЗЯ
ИГОРЯ
ГРИГОРЬЕВА

Есенин писал в мае 1921 года: «Блок — поэт бесформенный, Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка... 500, 600 корней — хозяйство очень бедное, а ответвления словесных образов дело довольно скучное, чтобы быть стихотворным мастером, их нужно знать дьявольски. Ни Блок, ни Клюев этого не знают, так же, как и вся братия многочисленных поэтов».

Сказано, очевидно, излишне резко, но разве не заставляет задуматься искренняя тревога выдающегося лирика за обращение писателей с их непосредственным материалом — словом? Разве не заслуживает внимания работа самого Есенина над расширением пределов поэтической лексики, над использованием диалектизмов? Наконец, разве не имеют вышеупомянутые размышления Есенина самого прямого отношения к практике современной поэзии?

Критика давно отметила пристальное внимание Игоря Григорьева к народному слову. Есенин призывал «петь по-свойски». Григорьев так и поет, и разве не доставит радость читателю, например, его описание рождения луны (обычно пишут о восходе солнца, но, оказывается, и восход месяца может доставить радость!).

И тут мы увидели дивное диво:
На взгорке, в гнезде валуна,
Как длинная искорка, плача счастливо,
Родилась малютка луна.

Была она словно подснежник в апреле,
Зажженный из темного льда,

Григорьев И. Н.

Г 83 Стезя: Новые стихи. — Л.: Лениздат, 1982. — 88 с.

Книга стихов известного поэта Игоря Григорьева еще раз подтверждает тесную связь его творчества с русским фольклором; глубокое жизнелюбие, преданность родной земле пронизывают лучшие стихотворения сборника. Особое место в книге занимает поэма «Жить будем», посвященная событиям народной жизни во время Великой Отечественной войны.

Г 4702010200—098
M171(03)—82 177—82

84.3(2)7

© Лениздат, 1982

Была она вроде блескучей ёфорели,
Прозрачной, как в Узе вода...

Молчаньем — звончайшим — потемки
нагрузили;

И, нежно стена, издали,
На омут, как будто на черные гусли,
Искристые струны легли.

И тоненько, точно травинки с проталин,
Вздохнули — кто знает, о чём?
И тихо, сторожко так за-рокотали;
И плеск — от Шелони, и — чели;

И зов!..

Что особенно важно, поиск оттенков речи предпринимается ради поиска точности поэтического народного мироощущения. Для Игоря Григорьева характерны не только глубинный поиск заветного слова, но и кровная близость к народному творчеству, не только знание, но и живое ощущение фольклора. «Высокий гимн, частушкуль взять, коль в них душа, все — песней звать», — говорит поэт, и это широкое понимание песни уже само по себе свидетельствует о его причастности к народному словотворчеству.

Слово, однако, неразрывно связано с тем, что оно выражает. И не случайно в «Истории русской советской литературы» И. Григорьев анализируется в ряду тех поэтов, которые разрабатывают традиционные для русской и советской поэзии темы родины, исторических судеб народных масс, жизни простых тружеников: «Вот почему во многих стихотворениях и поэмах этих поэтов так сильно подчеркиваются глубокие связи современности с прошлым родной земли. Исследуя сложные проблемы времени, поэты более всего задумываются над истоками тех положительных сил в народе, которые помогали ему переносить ве-

личайшие трудности и испытания в борьбе за свои идеалы»¹.

Давно известно, что в верности родной земле, традициям родного народа — залог творческих успехов поэзии. Жизненную конкретность поэзии Игоря Григорьева придает его привязанность к родному Псковскому краю — и в радости, и в горе: «Нам с тобою одна непогодина и веселье одно на роду». Да и родная земля грустит в разлуке: «И радуг твоих коромыслица линяют и гнутся одни». Характерно и показательно, что, будучи членом Ленинградской писательской организации, И. Григорьев переселился на родную Псковщину.

Мотив радостной встречи с родной землей захватывает уже с начальных страниц его новой книги «Стезя». Свет жизни, любви, причастность к народной жизни пронизывают лучшие стихотворения книги. Вместе с тем новая книга раскрывает драматизм жизни: поэт говорит о сложных коллизиях современной деревни.

Этими своими мотивами поэзия Игоря Григорьева естественно входит в контекст не только современной советской поэзии, но и вообще литературы, виднейшие представители которой — Федор Абрамов, Василий Шукшин, Виктор Астафьев — обращаются именно к деревне в поиске глубинных основ народной жизни, нравственной основы народного миропонимания.

Наиболее крупным произведением в новой книге является поэма «Жить будем». Идейно-нравственный кодекс автора выражен в ней в наибольшей мере: герой поэмы — русский народ, мужественно преодолевающий трагические препятствия на своем пути. Автор впечатляюще рисует драматические картины военных будней — и в том ему помогает колоритность его языка.

Давно окончилась Великая Отечественная война, но появляются все новые и новые воспоми-

¹ История русской советской литературы. М., 1974, с. 561.

² И. Н. Григорьев

нания ее участников, потрясающие достоверностью свидетельства очевидцев. Одним из таких свидетельств становится и поэма «Жить будем», но здесь достоверность — не документальная, а художественная, и это увеличивает силу производимого ею воздействия. Вспомним, например, как описано убийство одного из мальчиков, взятых фашистами в плен в качестве заложников:

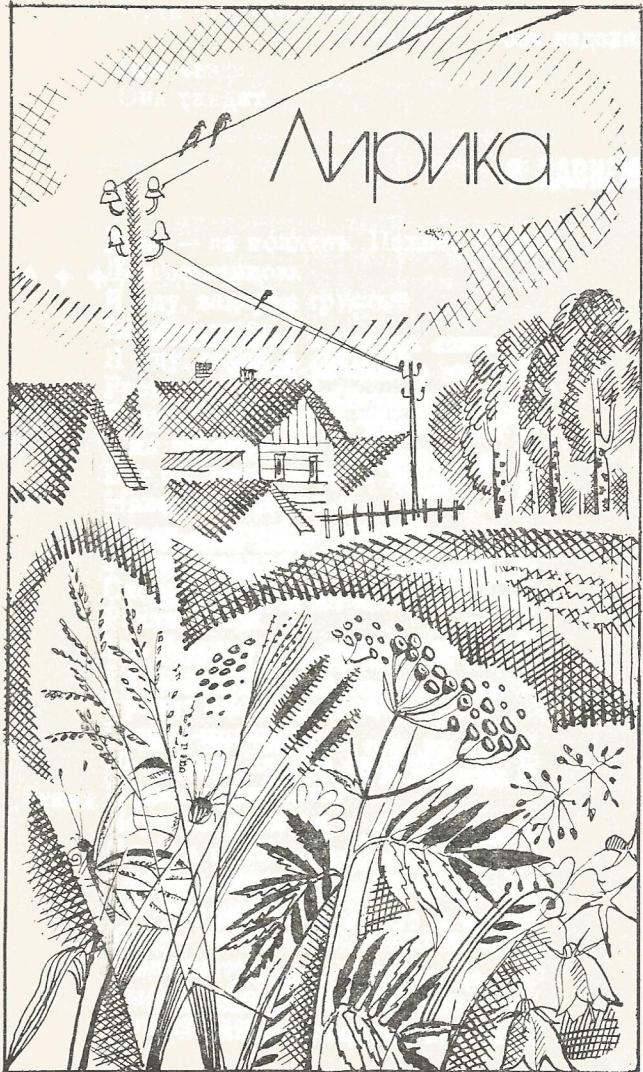
Как белый журавлик, он звал свою стаю,
Шуршал, будто сорванный лист:
— Я к маме хочу! Про машину не знаю...
Не бей меня, дядя фашист!..

Сочетание народно-песенной образности и скучной информативности, эпической широты кругозора и лирически-щемящей психологической проникновенности — всем этим характерна и поэма в целом. Такова, впрочем, и поэзия Григорьева вообще. Но есть в поэме «Жить будем» образ, который позволяет расценивать ее как высшее достижение автора в отображении народной жизни. Это образ деда Михаила с его героической, в чем-то исключительной, но все-таки типичной судьбой. Его пытали оккупанты в гражданскую войну, его расстреляли их потомки в Великую Отечественную.

Благодаря фигуре деда Михаила поэма «Жить будем» встает в ряд эпических произведений, запечатлевших борцов за советскую власть и народное дело, таких, как «Анна Снегина» С. Есенина, «Флаг над сельсоветом» А. Недогонова. Творчество Игоря Григорьева одерживает все новые победы на магистральной линии развития советской литературы.

Владислав ШОШИН

Апрель 1981 г.



Чуть что, столкнет с пути, —
без вздоха.

Она везде.
Она глядит.

В ДАВНЕМ

День — за поздень. Пахнет Русью
Долгожданною.
Я иду, задарен грустью
Безобманною.
Я иду, седой и светлый,
Растревоженный, —
В луг пригожий, в мир заветный, —
Мил дорожиной.
Вот он, детства край далекий,
Малость славная —
Берег, желтый и отлогий,
Речка главная.
Сколько лет чиста водица
Разливается,
Все бежит — не набежится,
Не умается.
Бродят аисты у брода —
Птицы-правнуки.
До чего ж сладка сморода,
Мёдны травоныки!
Неусыпь ребячья — заводь,
Внучка омута,
Где язи клевали — с лапоть,
Ряской тронута.
Мой — не клюнул: ходит в сини,
Забавляется,
Вырос — во! Меня доныне
Дожидается.

Зажгись глаголом песнопенья!
Иди на огненном ветру,
И жги сомненья поутру,
И сам сгорай от изумленья,
И заклинай:
Я не умру!

А не пойдешь — себя обманешь,
Но Время все не превзойдешь:
Ведь сам себя ты не найдешь
В себе,
Лишь сердце зрящно ранишь.
А мир так скорбен и пригож.

Везет ли, нет — живи, не кайся
В жарынь и в стынь, в светло
и в хмарь;

Изведай новь,
Припомн старь;
Не прячь себя, ликуй и майся,
Земли и страж и государь.

Уразумей: крута эпоха,
Разладишь с ней, не пощадит —
Она, как вихорь грозовит, —

Так давно мы не виделись, поле,
Не аукались, песельник-лес!
Ни тревоги на сердце, ни боли,
Только свет — от земли до небес.

Дорогие лесные пустыни,
Серой блыхи могучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни,
Мне нисколько не горько с тобой.

Неказиста трава, неприглядна,
Худосочна и что там еще?
Мне надежно с тобой и отрадно
Опереться на дружье плечо.

Ни тревоги на сердце, ни боли,
Только свет — от земли до небес.
Как давно мы не виделись, поле,
Не аукались, песельник-лес!

Ты дубы на полянах огромнишь,
Рвешься к зорям, орел крутокрыл.
Ты меня поневоле не помнишь,
Я по воле тебя не забыл.

Будет всякое, всякое будет
В наших судьбах, таких горевых:
Нас прогонят, обманут, осудят,
Нас отвергнут от зорь заревых.

Нас еще позабудут, забросят,
Опалят беспощадным огнем
И железной секирою скосят,
Только мы все равно не умрем.

Хоть чего напридумай-наделай,
Хоть грози извести на корню —
Наши корни в земле порыжелой
Не унять никакому огню.

Не прибыльна песня об этом,
Вся — пламя, октябрьская тишь:
Коль ты уродился поэтом —
От первой же искры сгоришь.

Поэт ли я, нет? а сгораю;
Вся глушь, как пылающий скит...
Поэтому я выбираю
Погоду, когда моросит.

«В такое бездождье беречься?
А грянет ненастье — запеть?
Да это ж от злата отречься!..»
А мне бы — дотла не сгореть.

ВЕШНЯЯ НОЧЬ

Тишина теплынь усердная —
Снеготай.
Субботея вербная —
Скоро май.

Выси разгорожены —
До звезды.

Тропки и дорожины —
Без узды:

Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются —
Благодать.

Ропница-березица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца —
Большачок.



Я чегой-то сник в печали,
Призаянул, приугас:
На возлюбленные дали
Сколько дней не пялю глаз.

Сколько ночек-звездопадок
Не скитаюсь по земле.
А ведь я ли был не падок
Жечь костры в кромешной мгле.

А ведь я ли, вспомяните,
Был до зорек не охоч:
Не жалея сна и прыти,
Бёг за утром через ночь.

Был на «ты» с дремучим лесом,
С крутовьюжьем и грозой.
Вдруг, спознавшись с модным стрессом,
Стал, ей-богу, сам не свой.

Только майтесь не буду —
Прозябать ни для чего:
Возвернусь к родному чуду,
К сладкой горести его.

Будь хоть что, не будет хуже:
Посох в руки — и айда!
В колеях мутнеют лужи:
Здравствуй, водушка-вода!

Лист помре — скосила осень
Ноябриной косой,
Лысый луг травы не просит:
Усыпленье и покой.

Небо немо и широко,
Ветру зябкости не жаль...
Приюти меня, дорога,
Вразуми, зараспечаль.



Разлука-далъ стихи слагает:
Уди в зарю из шалаша!
И в том пути изнемогает
Моя бездомная душа.

Уже и утро пролетело:
Передохнуть бы у ручья.
Но хоть бы что душе до тела,
Она торопит: даль ничья!

Уже и версты ночь итожит,
И телу бренному невмочь.



А вот душа изныть не может,
Ей никогда не изнемочь.

Она, как песнь, как путь, нетленна,
Ее, как время, не унять...
Твердят: душа у тела пленна.
Кто у кого в пленау, как знать.



Мне бедный лог, осенний лог
За тьмы изломом
Не будет, как бы ни продрог,
Холодным домом.

И что с того, что ни листка
Над гребнем сизым:
Травы зеленая тоска —
Печали вызов.

Мне никогда, мне никогда
В час непогожий
Не станет стылая вода
Змеиной кожей.

Пускай все плесо на ветру
Шипит и вьется.
Но ввечеру иль поутру
Синь засмеется,

И потеплеют холода,
И тихо станет.
Перегорюю, как всегда,
Коль друг обманет.

Чтоб сердечней биться
Сердцу-ветролюбу,
Сбыл я рукавицы
И — в придачу — шубу.

Для большой дороги
Валенки — морока:
В них, как в гирях, ноги —
Не находишь много.

А без малахая
Обойдусь подавно.
Не темней, взыхая, —
В поле-то как славно!

Март мосты разводит
На уснувших речках,
Солнце колобродит:
Жары внедалечках.

Что ж ты морщишь губы,
Укоряешь бровью?
Мы ведь — лета трубы,
Мы — с горячей кровью.

День меня — в охапку,
Даль к ногам упала:
Голову — не шапку —
За такое мало!



Большой закат на вечер малый
Упал, горит на берегу.
И этот отзвук запоздалый —
На черно-розовом снегу.

Такой родной и одинокий,
Которого бескрайне ждал,
Недосягаемо далекий —
Возник, истаял, отрыдал

В лесах, как лед, оцепенелых,
В сугробах, глыбких и немых,
На крыльях неба красно-белых...
Но не сгорел: затеплил стих.



Позвала к открытому окну,
Уронила руки на плечо:
«Здравствуй!.. Хоть бы в чем бы
 упрекнул.
Хоть спросил бы...» —
«Полноте, о чём?»

Да и вы —
С чего мне горевно? —
Зрячный ведь бросаете вопрос.
Наше полымя давным-давно
Знобкий ветер во поле разнес».

Все в сугробах, стыло, бел-белое,
День — и невысокий, и немой...

Все по правде: лето не взошло
У раскрытоого окна
Зимой.



Да неужель мы хуже лебедей,
И аистов, и ласточек вернейших?
В любви твоей-моей, в любви людей,
Мы разве любим неверней и меньше?

И если даже бес вселится в нас,
Толкнет вкусить чужой запретной сласти,
Мы люди, любим все же только раз,
В конце концов стыдясь бесстрастной
 страсти.

На всей Земле, не только на Руси,
Первовлюбовь изменой не избудешь;
«Люблю тебя!» — хоть как произноси,
Не о любой тужить, о любой будешь.

ОПРАВДАНЬЕ

Я прочь ушел, я в ночь ушел,
Но верю свято:
Не угасает красный дол
Окрай заката.

И не дано мне, не дано
В тебя не верить,
Пускай недавно иль давно
Закрылись двери.

Что было, быть тому до дна —
Ничто не сплыло.
И я один, и ты одна,
Мое светило.

Ты — вещий звук в моей судьбе
С немым укором.
Я не могу прийти к тебе
Прощенным вором.

БЛУДНЫЙ СЫН

Была бесприютна погода —
Покров мокроснежил и дрог.
Так сталоось уж:
Трудных три года
Я здесь не оскашивал ног.

Печального образа рыцарь —
Каких только чуд не чудил.
В погоне
За стервой жар-птицей
Ни песен, ни крыл не щадил.

По разным чужбинам шатался —
Скобарь, шантрапе ль побратим?
Измучился.
Родине сдался.
И, плениный навек, победил.

Пред этим обиженным домом
Я плáчу,

Я снова рожден.
И пахнет знакомым-знакомым:
Позёмом да вешним дождем.

От руки...
Любовь...

НАЧАЛО ПСКОВА

(из поэмы „Зажги надежду“)

— Аз небылица — суть забота,
Она доныне не забыта.

Давным-давно, чудесней дива,
Жила на белом свете дева.

Взросла в Лыбутах — в бедной веси,
Приданого — река, да выси,

Да кур, да без соли солонка.
Но не печалилась селянка:

И дочерью была примерной,
И работуней страсть проворной.

В день, в ночь — лишь челян ее
покликай —
Людей возила по Великой:

Старателей в полях и дебрях,
Простых и знатных, скряг и добрых;

Те шли на брань, а эти — с пира...
Перевозила всех без спора.

На переправе было людно,
И дело шло у девы ладно:

Она приданое кошила,
В порогах зло река кипела...

Дружинык витязя однажды
Привез на берег: в крови одежды,

И все чело страдальца было,
Как первая пороша, бёло.

Добрунья маялась: «О, бедный!..»
Дружинык молвил: «Бой обидный:

Вся в сече полегла дружина.
Спаси его!»
Она дрожала.

Глава у юноши зависла.
«К нам!» — Дева налегла на весла...

«Спасти!» — одной подвластна думе,
Его укрыла в отчем доме.

Отец — согласен, мать — ни слова.
Родным поклон! Сварогу слава!

Вблизи деревни, в плитах серых,
Меж валунов, немых и сирых,

Ключи текли целебноструйны;
Их осеняли вербы стройны.

Она туда — живее ветра, —
Живой водой наполнить ведра!

И раны молодцу омыла,
И завязала их умело.

За ним ходила дни и ночи:
Не исцелился б князь иначе.

Он рек ей: «Свет во дни ненастны,
Люблю! Не бысть иной невесты.

Клянусь я огненным Ярилой
И воем выюги над яругой:

Со мной всегда ты будешь рядом!
Как звать тебя? И кто ты родом?»

Счастливой не тая улыбки,
Легко и просто, без уловки,

На Игоря взглянувши кротко,
Ответствовала дева кратко:

«Мой ясноликий княже-кречет,
Мужичка родом, Ольгой кличут.

Ты люб мне. Ждати вечно буду.
С тобой на все готова беды!»

Потом, потупив очи долу,
Сказала: «Люди кличут к делу».

«Так жди меня, готовься к сватам!..»
Заря плескалась тихим светом.

Они простились ранью росной
Под вишнею, от цвета рясной.

Горело лето. Стыла есень.
Вот снегири обсели ясень.

И тут в Лыбутах — сани, сани!
И свет-сваты к свет-Ольге — в сени!

Седмицу свадьба-пир не стыла!..
Так дочь селян княгиней стала.

Зовуч земли родимой корень:
Из Новеграда в отчий курень

Пожаловала Ольга летом.
И к родникам, что чайка — лётом!

(Те родники как почесть ладе
«Ключами Ольги» кличут люди.)

Назавтра, при восходном свете,
При малой челяди и свите

Ладью княгиня подрядила:
Она о Кроме порадела...

На берегу — хрустящий гравий,
На Кроме — лес косматой гривой:

Пристанище буй турам бурым...
Залюбовалась Ольга бором,

Скалой, обрывом неприступным,
Двух рек теченьем непрестанным

И утвердила властным словом:
«Здесь встанет град, велик и славен!»

Срубили дом — с коньком, с сенями
И со украсами с иными...

Так бы основан город Плесков
На Кроме каменном и плоском.



Немы и пусты
Знобкие поляны.
Голые кусты
Зыбки и туманны.

Над плаクун-травой,
Над водой и мхами —
В синьке ветровой —
Звезды ворохами.

Полночь без луны,
Путь мой без дороги.
И ничьей вины,
Никакой тревоги.



Октябрь в низинном захолустье
Знобит раздетые кусты.
Не запоясаться от грусти,
От журавлиной маэты.

Хоть истомись, хоть разжалей —
От сирых нив не уберечься,
И на распятье не отречься
От засыпающих полей.

Простор обнимёт —
И обманет,
Заставит вжаться в города.
Так что же, что несет и манит
Тебя сюда, тебя сюда?..

Какою неизбывной верой
Заогневеется душа,
Когда в дали, пустой и серой,
Всплеснется трепет камыша.

И всхлипнет типь: «Кровинка-сын!..»
И ты опять простой и прежний,
Как в рани — кроткий, свойский,
зашиний,
И на сердце — не стынь, а синь.



В жар-июль, в разгар покоса,
В неуемную страду,
На земле роса белеса,
Зори рдяны, дни в цвету;

Вволю иволгиных свистов,
Вечера — туман парной,
Рань медвяна, зной неистов,
Грозы праздны — стороной;

Сёла тихи, дали ясны,
Ни хмуришки в облаках.
Все в заботе, все причастны —
Все гуляют на лугах.

Травостой — ширь-широкий:
Поймы, пожни, клевера...
Коротки у лета сроки,
Строга страдная пора.

— На подмогу не пожалуй
К нам пятерка подгонял,
Не успели бы, пожалуй;
Кто б последний стог умял?..

Небо чисто и нарядно,
Солнце село, месяц — в путь.
Дело сделано, и ладно.
Рожь поспела: вот в чем суть.

ПЕРЕД ИЮНЕМ

Зажгли в беложар, осветили округу
Черемух белынь-острова.
Весна наметелила теплую выюгу,
А понизу выюги — трава.

А поверху выюги — сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше — в просторе — струистая
розынь:

И это — всего только май.

Как будто сорвалось веселье с постромок —
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потемок,
До сумерек — радость и свет.

А вечером — небо звенит и ликует
От крыш деревенских — до звезд,

И странник-дергач с тишиною толкует,
И мир удивительно прост.

Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки
И озимь взовьется по грудь!

ДОБРОТА ЦВЕТОВ

*Тамаре Ивановне
и Виктору Павловичу Малининым*

ОДУВАНЧИКИ

В дни весенних страдных буден
Даром дарят, жизнь любя,
Золотую радость людям,
Пряча горечь для себя.

ИВАН-ЧАЙ

Когда швырнет хатенки в бездну
И пламя все дотла доест,
Я на пожарище воскресну —
Не дам забыть родимых мест.

ЧЕРТОПОЛОХ

На «цап-царап» не налегаю —
Своим трудом живу-служжу.
Я не людей — чертей пугаю
И рой шмелиный сторожу.

Цветет с апреля до зимы,
К тому ж — во всякую погоду.
И празднуют под ним холмы:
Малюсенький, а сколько меду!

ПРОСТО БУТОНЫ

Полны осенние бутоны
Невыразимым сладкогрустъем:
Они — как хутор в веки оны,
Рыдающий над захолустьем.

ПОДОРОЖНИК

Его топчи, громи копытом
И траком жми, а он растет.
Жить можно даже очень битым:
Была б дорога, боль не в счет.

ГРАЧИ

И дым Отечества нам сладок и приятен!
Александр Грибоедов

Добрались до отечества грачи
(Мы все, живые, рвемся к дому, рвемся).
Метель плюют им в очи: не кричи!..
А птицы уповают: перебьемся.

Февраль в размахе — месяц до весны,
Морозы напоследок стервенеют.

А думы птиц, как вешний день, ясны:
Они в добро не верить не умеют.

Повременить бы им до Сороков,
Перегодить бы стужу возле моря, —
Не ведали б непощадных облаков,
Не знали бы ни сиверка, ни горя.

Они обсели брошенный овин:
Сидят и ожидают утро года.
Не все дождутся теплых луговин,
Не все услышат звоны ледохода.

Над ними высъ, крута и холодна,
Под ними — снег, за ними — снег,
пред ними...

Да, родина у всех, у всех одна.
И птицы уповают в отчем дыме.

СИТОВИЧИ

Мое родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да все ты есть, —
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.

Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты —

Всего житъя-бытъя основа.
Поклон вам,

Отчие кресты;
Нам выпало свиданье снова:
До встречи — только полверсты.

Как резво поспешают ноги,
Какая в сердце благодать,
Когда по ласковой дороге
Тебе даровано шагать!

Какая травная дорога,
Какие смолкшие луга,
Как тут светло и одиноко.
Покой.
Ни друга, ни врага.

А ведь давно ль за землю дралось,
Пахало каждый бугорок,
Деревней Ситовичи звалось.
Теперь на тех полях —
Борок.

Теперь назад не возврнешься,
Моя деревня, — избы вить,
Не запоешь,
Не встрепенешься
(Эпоха! — некого корить).

Мне ж, упасенному судьбою,
Жалеть и маяться, любя...
Сейчас увидимся с тобою,
Хоть нет тебя.
Хоть нет тебя.



В августе рассвет на ногу нескор:
Мудрые живут не спеша.
Ругань петушиная ему не укор:
Что им, за душой — ни гроша.

Кто о чем печалится, слышу сам,
Знаю, чем иные горды.
Многовато сусла текло по усам,
Угодив к безусым во рты.

Чую, что к чему, давненько уже,
Не таю казну в сундучках... —
У него грустинка в чуткой душе,
Хитрая смешишка в зрачках.

Кладью отягчен август-свет:
Все добро земли на столах.
На его заботе — мир да совет,
Не до краснобайства в делах.

Вышлет сквознячок, а сам — молчок:
Нечего шуметь зазря.
Опадают росы: «Чок, чок, чок...»
Чистит фитили заря.

Зреет, не спешит рассвет шагать,
Тормошить высокую тишь.
Доброму хозяину, ему ль не знать:
Поспешишь — людей насмешишь.

Я в русской глухомани рос.
Шагнешь — и прямо на задворках
Тоска, да мох, да плач берез,
Да где-то град уездный Порхов.

В деревне — тридцать пять дворов;
На едока — полдесятины;
На всех — четырнадцать коров,
Да в речке Узе вдосталь тины.

Народ — на голыше бояк.
А ребятню что год рожали.
Как жили? Всяко: так и сяк —
Не все, однако, в даль бежали.

Большим не до меньших — дела:
Не как теперь — не на зарплате.
Нам нянькой улица была,
Низина — мамкой, взгорки — тятей.

Про зиму что и вспоминать:
Метель вьюжила на болоте, —
Зима и сытому не мать,
Хоть в шубе будь, да все не тетя.

Весной сластились купырем,
Подснежной клюковой да кислицей;
Под май — крапивки поднарвем:
О вешний суп с живой водицей!

Зато уж лето детворе
Надарит бобу и орехов,

И птичьих песен на заре,
А солнышко нажмет доспехов...

Нас в люди выводила Русь
Всей строгостью земли и неба;
Пусть хлеб ее был черным, пусты,
Но никогда он горьким не был.

Когда мы были очень юными,
Совсем не верили тогда,
Что под березами подлунными
Живая замерла вода.

Не ведали, что младо — зелено,
Все вроде ясно наперед.
Запрету: «Дедами не велено!»
В глаза дерзили: «Век не тот».

Глядели мы глазами бедными,
Не видя бедствие свое.
А над полями предрассветными
Цвело и спело синевье.

Любая горка и овражина
Себя являла, как могла.
Все было просто и налаженно,
Все смысл имело — свет и мгла.

Нам были злат-края доверены,
Чтоб не закрался в них урон.
А нам бы — вдаль: мы были зелены.
Заветы дедов — не резон.

Друзья и я, и ты, любимая,
Не оглянулись за селом...
А жизни суть неодолимая
Была и есть — родимый дом.

Давно я не был в той окраине,
И твой там не отыщешь след.
Себя мы сами больно ранили:
Везде нам дом, и дома нет.

ВО ВРЕМЕНА ГОДА ЗА ЦВЕТЕНИЮ

Не думай, что я обездолен,
Что сбылся с веселья давно:
Поскольку я лирикой болен,
Мне сердце беречь не дано.

Июнь отсвистел сладкогласно,
Июль отгрел, отсиял.
И поле на жатву согласно,
И красен закат, а не ал.

Стога и печалинка — с пожен,
Янтарные росы, как мед.
Еще окоем не тревожен,
Но лето уже устает.

ЗА ЛИСТОПАДОМ

Березы дымят, побурели,
Споткнулись о ржавую медь,

Кого они только не грели!
И стало им зябко гореть.

Ни песен, ни злат-полушалка —
Лишь осени стылое дно.
И стало им лета не жалко,
И стало им все — все равно.

Зияют в чащобах напасти,
Немеют певун-пустыри...
А ты, мое сердце, на части
Не рвись — потихоньку гори.

ЗА ВЬЮГОЙ

Нечаянно вдруг загрустится.
Нечаянно ль? Что вопрошать! —
За выюгой любимые лица,
И некому руку пожать.

Минувшее давнее-давно
Некстати начнешь ворошить:
В былом не отрадно — отравно.
И полночь. И чем дорожить?

Ни света, ни слова, ни друга —
Лишь вопли да темень вокруг...
Сестра милосердная выюга,
Прости мне: дай руку, мой друг!

ЗА ПАВОДКОМ

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.

Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.

В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей,
И каждая лужа — криница
В ладонях полян и полей.

И гром возвратился ретиво,
И так прокатился легко!
И день — разливанное диво!
Но выюга моя далеко.

ОСКОЛОК



Как ласково день догоревший,
Как мирно отходит ко сну.
И ветер, как хмель присмиревший,
Прилег до утра под сосну.

И мнится: в доверчивом мире
Ни крови, ни ярости нет.
Но утро прольется в четыре,
И дело зажжется чуть свет.

Свинцом раскалленным подует,
Свирипый тротил хлобыстнет,
Разверстая кровь забедует,
И кто-то судьбу проклянет,

Кого-то надежда обманет,
Кого-то звезда озарит,
И кто-то вовеки не встанет,
И кто-то в огне не сгорит.

Но это потом. А покуда —
На целых четыре часа —
Покоя предобное чудо,
Как веки, смежает леса.

Мы тоже ведь чада природы,
Нам тоже не грех прикорнуть.
Еще окаянные годы
Пошлют нас в пылающий путь.

Давайте с тревогой простимся,
Не будем гадать о судьбе,
Под тихой сосновой приютимся,
Не время тужить о себе.

В дремоте бугры и ложбины,
Не знают ни зла, ни вины...
Полтыщи шагов до чужбины,
Четыре часа до войны.

КРАСУХА В 1943-М

Вокруг Красухи травы глухи,
Часты кусты густым-густы.
Еще у Мира очи сухи, —
Еще святой не стала ты;

Еще душа не у предела,
Не вознеслась, не полегла, —
Еще ты люто не сгорела,
Бессмертия не обрела;

Еще в осеннем озаренье
Ты теплишь грусть, мое село,
И ни тоска, ни разоренье
Еще не жгут твоё чело;

Еще ни боли, ни печали,
Еще ты машешь в три крыла,
Лишь крик набата прячут в дали
Твоих берез колокола.

Год сорок третий. Сентябрини.
Что день — темнее златогрустъ...
Какие дани и дарини
Ты жертвуюши и платишь, Русь!

Какому лиху, злу какому
Дано свершиться над тобой! —
Здесь ни живой душе, ни дому
Не выстоять перед судьбой;

Не выстоять перед напастью,
Что разразится в ноябре, —
Захватит огненною пастью
Тебя, Красуха, на заре.

Убьет — сожжет людей и хаты, —
Жизнь обратит в золу и прах...
Но до своей горючей даты
Тебе лететь на трех крылах.

И ты летишь над коловертью,
В осеннем полымя горя,
Навстречу страшному бессмертию —
До огненного ноября.

ПОСЛЕДНИЙ БОЛЬШАК

Любови Смуровой

Недоступен лик и светел,
Взгляд — в далеком-далеке.

Что ей версты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм, и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лед.
Горевой цветок России!
Что ей смерть. Она идет!

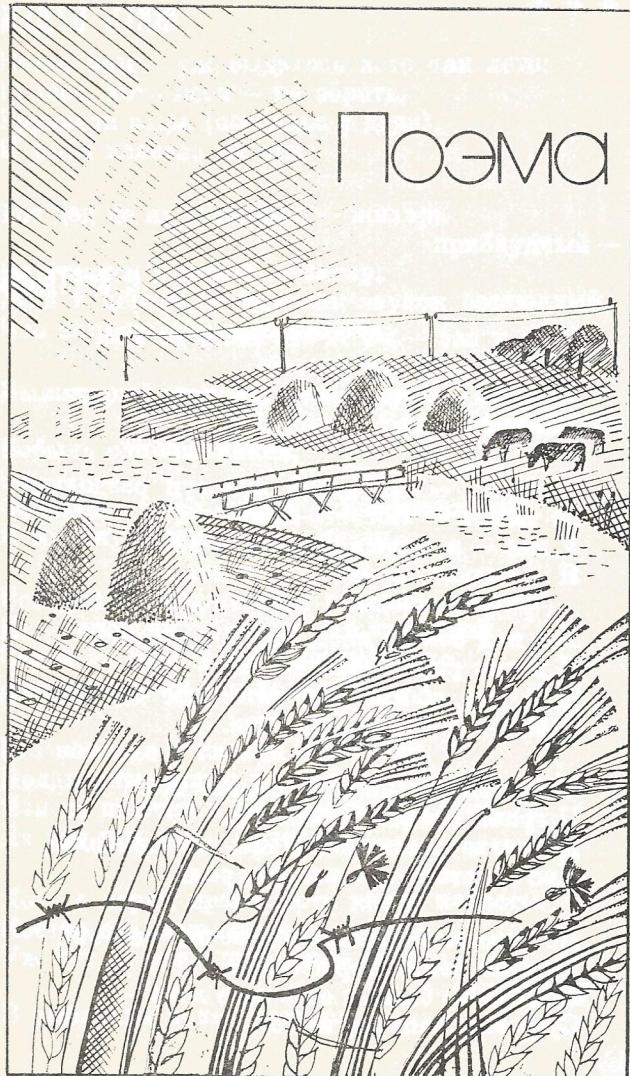


Поклон, поклон, ржаное поле,
Речушкин брод, косой стожок!
Мне жар земли безверье сжег —
Ни зла, ни зависти, ни боли.

Здорово, ласковые звери —
Ежи, сороки и ерши!
Ей-богу, с вами хоть пляши:
Душа в добро открыла двери.

Привет вам, грозовые тучи
И дымчатая голубень!
Спасибо, друже вешний день,
За все, что в жизни неминуче.

Поэма



ЖИТЬ БУДЕМ

Что бы лето, что бы
На бескрайнем болоте

Что бы лето, что бы мы

ЮМЕСТИ

Сергей Михалков

I. СВЕТЛЫНЬ

Река у нас — во! А что звать ее Уза,
Так это еще как сказать.
Малины — в два счета наешься от пузга.
Житуха! Лафа! Благодать!

С порога — ликующий приступ раздолья,
За тыном — стосвета-светлынь.
У нас — и дороги, и дали, и доля,
И — сильно горячему — стынь.

Все под боком: небо, земля и водица,
И плеск разливанного дня;
Есть где обогреться, есть чем остудиться:
Дыши — не тужи, ребятня.

Все наше: лесыще, и дремное поле,
И грома предоблая брань...
Да разве расскажешь про это приволье,
Про детство — несказную рань.

Но главное — «самое» — вечно все это,
Навовсе земли торжество.
У каждого было и есть свое лето —
Сугревка, запевка всего.



Везло нам — уж выдалось лето так лето:
Грибов, хоть коси — не обрать,
Грузнели сады (особливо у деда),
И рыба клевала на ять.

Тот дед не из тутовых — жихарь
приблудный —
Не шишка, а сошка — маляр;
Жил в центре, а был как заулок безлюдный,
Что напрочь закрытый амбар;

Был старый, как бор наш, хромой,
но двужильный;
Бобыль однешенъкий,
Он
Фамилию даже носил — Бесфамильный
И кличку нажил — Фармазон.

Все дни он малярничал в нашем поселке,
Но — знай ли, гроза ль — в выходной
Сидел на реке у затопленной елки,
Дремучий, как сам водяной.

Его комарье и слепни не кусали,
Полдневные жары не жгли;
Язи на крючки к нему вешались сами,
Да что там язи — голавли!

Хоть с корня дрова, хоть какое пенастье —
Костер его ясно горел.
Уж тут не убавишь: дед — мастер
так мастер —
В рыбакских делах наторел.

И красил на славу, художнику впору,
Забор ли, веранду ли взять —
Нарядит в обнову, даст крылья узору,—
Распишет картине под стать.

Зато уж молчун был и чокнутый вроде:
За рупь не расхмарит лица,
И в праздник пресветлый при гулком народе
Зазря не обронит словца.

Удачна ль рыбалка, доходна ль работа —
Лиши хмурится рыжий варнак;
И все ему будто бы надо чего-то,
И все ему чем-то не так.

Шаром покати в маляровом домишке,
В карманах — одни медяки.
— Ба-альшую монету коптит
на сберкнижке! —
Кряхтели казны знатоки.

— Деньга не шутейная — красненьких
тыща:
Ай, мог бы пожить бы! Й-эх, мог!
А Мишкины святки — чекушка без днища...
— Жмот копит про чертов мешок.

— Што баять, — рукаст и везуч, не зевает,
Рвет деньги, как листья с куста:
В получку по восемь сотняг загребает,
А тратит, сквалыга, полста...

Молчал скопидом — хоть бы хны на упреки,
Как будто он тут ни при чем;
Сносил и смешки, и кривые намеки.
— Ему не впервой: приучен.

— Не курит, не пьет: староверские штучки.
(Поили — дед не-у-по-им.)
— В лаптях разобут: докатился
до ручки... —
Мы вскорости встретимся с ним.



Так, значит, река наша Узой зовется,
И нет ее лучше нигде.
И нам, огольцам, подходяще живется
При той расчудесной воде.

Ходьбы-то каких-нибудь два километра,
Спрямляя крюки, до реки.
Ровесникам утра, приятелям ветра
Такая длина в полноги.

Попутно в горох завернуть недалечко,
Рядком, если — через луга.
С четыре версточки — и вот она, речка:
Прохлада, стрекозы, куга.

Повыше — на гриве — хоть сколько ореха
И дров хоть на сколько костров;
И по лесу — гукни лишь — россыпи эха.
Дорога к реке будь здоров!



Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
— Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в ракчицы рысью попрут.

Край лета: присничло раку ловиться —
С улыбкой, с припляской пойдет;
В норе весь июль голышом отпоститься —
Не шутки, живот подведет;

С такой голодухи не ждут разносолов:
Любой лягушонок — халва... —
В пестрыне, в медыне лугов развеселых
Горластая вьется братва.

Лиловые высги, пшеничные лица —
Ни туч, ни скорбей, ни забот.
Как водится, каждый слегка петушится,
Форсит и маленечко врет.

— Вчерась, понимаете... ты понимаешь,
Как клюнет, а я его — р-раз!
Плотвица взялась до чего же большая ж,
Да леска... — язище ка-ак даст!..

— Сорвался?
— Вдрызг — лесицу в восемь волосьев,
Удилище в щепки разнес!
— А как же плотица?
— Та... клюнула после.
— Язей в Узе удят на трос.

Пойдешь на язя, заверни на конюшню —
Оглоблю к вожжам привяжи:
Уж будет уда на завидки окружью —
На эту таскай хоть кряжи...

Так шли мы рыбачить в субботу, под вечер.
Стоял присмирения час,
И глупь никому не давила на плечи,
И радость с надеждой — при нас.

Текли мы, как полные речки, лугами,
Полохали свистом кусты,
На мир опирались босыми ногами,
Горячие, будто костры.

А солнце все ниже, а сумерки ближе:
Уже и туман засивел —
Он пятки щекочет и цыпки нам лижет;
И Ванька домой захотел.

Но Гриша внушил ему, так, без напора,
Тряхнул его левой: — Шалишь! —
А Ванька — бежать! Да закаялся скоро:
От Гриши куда убежишь...

И вот уже рачницы — в Узе, и к ночи
Натаскано дров на лужок,
И ерш червяка теребит что есть мочи.
И всем нам совсем хорошо.



Шел август. И звезды свое отмолчали.
(Вы знали б, как звезды поют!)
И синяя синь, и сластишка печали,
И ночь, как вселенский приют.

Костер наш горит себе смирно и ровно,
Он дышит и тоже поет.
И кто-то над нами, легко и безгромно,
Всё новые звезды кует.

Как бабкина горница, любкой и тмином
Пропахла добрынь-синева.



Проплёскала выдра, бабахнул сомина,
Пропели петух и сова.

Потом безо всякого зла у протоки,
В малиннике, гаркнул медведь!
Мы ближе к огню пододвинули ноги
И стали на плёсо глядеть.

И тут мы увидели дивное диво:
На взгорке, в гнезде валуна,
Как длинная искорка, плача счастливо,
Родилась малютка луна.

Была она словно подснежник в апреле,
Зажжённый из темного льда,
Была она вроде блескучей форели,
Прозрачной, как в Узе вода.

И, таинством схвачены, мы присмирили —
Пять другов у друга-костра.
И явь подтвердил перекат на свирели:
«Ждан-лунушка, здравствуй, сестра!»

Молчаньем — звончайшим — потемки
нагрузили;
И, нежно стеня, издали,
На омут, как будто на черные гусли,
Искристые струны легли.

И тоненько, точно травинки с проталин,
Вздохнули — кто знает, о чем?
И тихо, сторожко так за-рокотали;
И плеск — от Шелони, и член;

И — зов! Уж не сам ли Садко подплывает:
Кому ж еще так-то сыграть?
И если на свете чудес не бывает,
То как же такое назвать?

Уже заутрело: и сутемь сгустилась,
И куст зашептал, и в лугах,
Луну убаюкав, Венера явилась,
И, главное, дед — на ногах.

Мы знаем: коль Мишка закашлял на речке —
Верней обещания нет,
Что клев на мази и денек внедалечке,
Что время: проснулся рассвет.

Звездинка за звездочкой прячутся звезды,
Ныряют вздремнуть-подневать.
Все явственней зыбкая росная роздымь,
Все ласковей: к вёдру опять.

И вот оно, эвон: заряна-денница
Трепещет на каждом листе,
Как пестрые пчелы, несметно роится
В круг-около, всюду-везде.

Потемки покой и прохладу свершили
И сникли — с огнем не сыскать.
И бьют на осколки, как плахи большие,
Щучищи
Стеклянную гладь.

Река, будто скатерть, к тому ж —
самобранка:

Гостюй у венцун-берегов;
И солнечный блин не горяч спозаранку,
И лес хлебосольный с боков;

И розовый холм на поляне туманной
Сидит, как в печи каравай;

И раков навалом, и жор безобманный:
Берется — тягать поспевай.

Часам к девяти и ведерки, и сумки
Добычей богато полны.

И Гриша итожит мальчишьи задумки:
— Шабашить пора, пацаны!..

Готова уха, уварились раки —
И все это нам дарово.
И что ни мудри там, а стол из коряги
На свете удобней всего.

Такое достанет до сердца любого —
Хоть слеп ты, хоть глух ты, хоть нем.
И стань я кровинкою дня голубого —
Вот так бы и слился со всем!

За тропку в логу, за бугры и овражки,
За вербу, что в омут глядит, —
Не жаль ни себя, ни последней рубашки,
Не страшно невзгод и обид.



Костер свое дело до искры исполнил:
Пек брюкву, коптил кипяток,
Шугал мошкару и курился до полдня,
И Ваньке фуфайку прожег.

Костер догорел. Без костра жарковато:
Запуталось солнце в сосне.
Размякли ребята, бодрятся ребята,
И Ванька хохочет во сне.

Пускай отоспится, пускай похохочет —
Натешится власть, слабина.
Ужо ему будет, отец ему встрочит:
Фуфайка-то в доме одна.

Но это потом. А пока забавляйся,
Купайся — вода широка,
В песке ерепенься, в отаве валяйся, —
День добрый! Валий дурака!

Не каждый смекает, хоть всякому ясно:
Спать лишку — чего-то проспать.
Мы Ваньку-засоню втащили на прясло:
Высокая вышла кровать.

К портчонкам его прицепили манерку:
— Потеха! Умора! Ха-ха!.. —
В торбехе дружка учинили проверку,
Не видя в забаве греха.

У малого в торбе рыбешки не густо —
Спать крепок, удить слабоват —
Штук двадцать еришишек, четыре подуста
И брюква (зажал от ребят).

Сухмень. И в воде размокать надоело.
— Нехудо б дедка разыграть. —
Мы Ванькину взяли торбинку: — За дело!
(Нам дать бы! Да некому дратъ.)

Где плавом, где бродом, дивя стрекозишек,
Забавя до слез лягушат,
По чащам урути, по гущам кубышек
Даем на Глухой перекат.

(Под тем перекатом, в середке излуки,
Лоснясь, как растопленный жир,
Качая елины костлявые руки,
Бездонный ворочался вир.

На этом виру, на бучиле средь леса,
Где нечисть, по слухам, жила,
Старик, не страшась ни шипиги, ни беса,
Торчал до темна от бела).

И вот мы уже у затопленной елки —
Готовы обрушить удар!
Вот лапти в траве заскрипели и смолкли:
Ушел по валежник маляр.

Все в тине, как будто в зеленой кудели,
Нырнули мы: «Ну, рыбачок!..»
И торбу — с ершами и брюковой — надели
На дедов счастливый крючок.

Потом, расхрабрившись, срывая досаду,
С кола оторвали кукан.
И живо — назад, хохоча до упаду:
— Подденет «леща» истукан.



Вернулись к ночлегу. На прясле лад-ладом
Спит Ванька, аж ноздри поют,
Не охнет, чудила, и пот с него — градом.
И тишь. И кузнечики бьют.

Козявки снуют себе, день колобродит,
Спокоен сполна и погож.

А в нас ненароком тревога заходит:
Хоть деда — ни в грош мы, да все ж...

А тут еще Ванька: как свалится с прядла
Спросонья, как даст наутек!
Споткнулся. Под носом у малого красно,
На лбу его вспучился рог.

Мы зла не хотели, да вышла ошибка;
Мы, в общем-то, добрый народ.
Мы Ваньку спросили: — Зашибся
нешибко? —
Заверили дружно: — Пройдет!..

Ах Ваня-простак, невезучий товарищ,
Дела-то, как сажа бела:
Фуфайка с дырой, и ухи не наваришь,
И брюква была, да сплыла.

Стоял он в большенной отцовской фуражке,
В сестренкиной кофте, босой.
Не жалобясь, брат, на крутие замашки —
Ребят не задобришь слезой.

У них силачи да герои в почете.
Понятно? Нишки, слабаки!
Но что это с небом? Затучило вроде,
И лапти хрустят у реки.



Приперся, лаптюжник, притопал, хромуля,
И встал. И молчит, как немой...
Мы шапки в охапки: — Покеда, дедуля!
— Куда ж вы?
— По делу. Домой.

Опять же червей — ни червя не осталось,
И коз нам назавтра пасти,
И Ванька не сдюжит: расквасился малость.
— Улов-то, поди, не спеш?..

— Поймали бы вдвое, да бросило брататься.
— Похвально. И мне повезло.
— Рыбеху в торбешке не видели,
 бра-атцы?..
— Тю-тю, слышь, — струей унесло. —

Старик допекал: — Уза резво бегуча.
Урок лежаку-рыбаку:
Вернешься — тебя хорошенечко вздрючат.
Поменьше кукуй на боку.

А слезы не трать, пригодятся, как видно. —
И мне: — Ты гляди у меня!.. —
И прочь захромал, ухмыляясь ехидно.
И жгло нас, как после ремня.

◆◆◆

Его не любили: все — «Мишка» да «Мишка»;
И тем же платил старикан.
Саженный забор, на воротах задвижка,
В саду неусыпный Полкан.

Пудовый замок при калитке — «на случай». —
Жадуга.
— Как есть фармазон... —
А он себе ходит, высокий, негнучий:
Хула гордецу не резон.

Райцентр дивовался: — К чему его мука?
Чем жив человек без забот? —

Ни сына, ни дочки, ни внучки, ни孙儿, —
Пошто и на свете живет?

◆◆◆

Мы жили дом в дом. Мне — морока
 от деда:
Ни шагу ступить не давал.
Иметь по соседству такого соседа —
Совсем не шутейный скандал.

Он жил низачем, нелюдим и ехиден,
Имел полновесный кулак;
Он был скупердяй. Я его ненавидел
За стыдный подспинный тумак.

Однако у этого самого Мишки
Был садик — сплошной интерес;
Росли там, сочясь, не пустяк-яблочинки,
Не горечь-лешуга — дюшес!

Однажды, смирив цепняка за ватрушку,
В тот сад ребятня забралась.
И только я взвил на медовую грушку —
Съел дулю полынную: — Слазь! —

Дедице лохматый, рыженый, как сурик,
Сопел, наподобье коня:
— Взобрался, желанный? Попался,
 мазурек! —
И щупал подпоркой меня.

Двурогая жердь — это, ой, неприятно
И очень обидно к тому ж.
Мне так захотелось убраться обратно,
Подальше от всяческих груш!

Я сдался, раскаялся: — Больше не буду!
— Не будешь, не будешь, милок... —
Я крепко запомнил хлестучую уду
И лаптя больнущий клевок.



Пониже спины у меня позудело,
Пожгло — и отпрянула боль.
По лёту мальчишкам ого сколько дела:
Рыбачь, грибникуй и футбольь.

Наш брат, оголец, до футбола гораздый —
Напорист и очень горяч.
Мы сшиблись: мы стаей грачено-горластой
Покромок пинаем, как мяч.

Гоняем со смаком, блажно и блаженно,
Пасуем и пяткой и лбом.
Дремливый заулок вонит оглашенно,
За нами — пылица столбом.

Над нами — в двух радугах — смириное
и небо
И солнышко — ясный сокол.
И вроде бы нету нам дела до хлеба:
Мы сыты, играем в футбол.

Мы лупим! Наш форвард, беспечен
и весел,
Швыряет горбушку: — Ломи-и!.. —
Я прямо в ворота подачу навесил
И слышу: — А ну подними!

И чую: как будто железные клещи
За шиворот взяли меня;

И вижу: возник стариичина зловещий,
Дорогу в бега заслоня.

Кругом никого: драпанула ватага,
Рассыпалась, точно горох.
— До самого хлеба добрался, бродяга?
Да чтоб ты, скаженный, засох!

Неуж невдомек, что́ ногой шалыгаешь?
— А вам что за дело? Свой хлеб.
— Болван ты набитый, коль так полагаешь.
Заселся, от жиру ослеп.

Всю жизнь твой отец ради хлеба трудился,
Чтоб жить тебе всласть, дуралей.
Да если б он с финской сейчас возвратился!..
Хоть память о нем пожалей.



Была не была, я не поднял краюшку.
Я рвался, канюча: — Не тро-онь!.. —
Дед жалился тихо: — Найдут же игрушку! —
И взял тот опметок в ладонь.

Замолк. И горбушку обтер виновато,
Достал табакерку, в ней — соль;
Он хлеб посолил: — Не взыщи —
хрустковато.
Ешь! Слышишь? Отведать изволь!

— Да это ж — земля, не еда никакая:
Бодяга, не стоит плевка.
— Не рыпайся, батенька, лопай без хая!
— Мне кушать? Нашли дурака.

— Тебе, шалопут. А иначе кому же:
Сам стряпал. Разинь-ка роток...
— Я съем его после: оставлю на ужин.
— Жуй! Живенько, горе-игрон!

Забавишься дико, реввишься не ладно:
Уж бедная, бедная мать...
— Угу! Отпустите!
— Воспринял? Отрадно! —
И тем же лаптюгой — опять.

Я в избу рванул, запустил в него биткой,
Я крикнул: — Сгорел бы ты, жмот! —
И, хлебом и пылью плюясь за калиткой,
Увидел: он корку жует.

К забору подходит и, крадучись, что-то
Сгоняет со щек рукавом:
— Войди в них о хлебе насущном забота! —
И крестит той коркой мой дом.

II. ПОТЕМКИ

Зеленые, глупые, милые годы,
Не ваша, не наша вина,
Что вы запропали, как в засуху всходы,
Что свет зачернила война.

Не стало ни песен, ни стычек веселых,
Ни доброго плача окрест.
Бездушнее камня в наш любой поселок
Железный разбойник налез.

Заполз, будто гадина, в русские двери
Из грозной германской норы.

И травы, и древа, и птицы, и звери
Поникли до лучшей поры.

И верное жизни, бесстрашное солнце,
Пресветлую прятало ясь:
То в кровь обагрится, то в дым окунется,
Кощунства войны убоясь.

От грохота стали грома онемели,
Сгорели потоки дождей,
И звезды пригасли, и воды взмутнели —
Так что ж говорить про людей!

С начального трепета, с перворожденья
До самого судного дня
Не ведать землянам такого глумленья,
И тьмищи, и столько огня.

И как ты, земля, это горе вместила
И муки такие снесла!
Как рана сквозная ты вся, как могила,
Как пепел — от злобы и зла.

Нет луга, нет леса, нет речки, нет неба —
О, вольная Родина-мать!
Нет черного — самого сладкого — хлеба.
(Как смели мы чуда не знать!)

Понятно, не смели, однако не знали
Его настоящей цены:
Привычный, как воля, всегдаший, как дали,
Ничем был нам хлеб до войны.

«Ничем» — не совсем, да не очень и дорог:
Навроде в колодце вода;



Обычен, как воздух, как ближний
пригород:
Не сладости — просто еда.

Двуглавое лихо, когтистое горе,
Чужбина в родимом дому
Учили нас люто — мы поняли вскоре:
Без хлеба не жить никому.



Был голод и враг, и сугробы рядами,
И стужа острее ножа.
Мы снегом немецкий «паёк» заедали,
Мы грелись, морозом дыша.

Мы крались туда, где колхозные риги
Когда-то не знали тоски.
Мерещились нам каравай, ковриги,
Горбушки и просто куски.

Нам грезилось лето все в скирдах и в гуле.
Гудеж молотьбы на токах.
Казалось, что мы не в суметах тонули —
Купались в ржаных ворохах!

А въявь — подметали пустые овины,
Не брезгали вдовым хлевом;
И, спрятав за пазуху горстку мякины,
Себя веселили: «Живем!»

Мякину мочили, сушили, рубили,
Мякинушку в ступах толкли;
Потом из мякинки похлебку варили,
Еще — колобашки пекли.

В тот год у задворок, прижавшись
к поселку,

В сугробах, во вьюжном дыму,
Несжатая нива, крича без умолку,
Рыдала в дрожливую тьму.

На «кладбище» это, таяся от злыдней,
Ходили мы жать на заре.
Что может быть горше, больней и обидней,
Чем хлеб на корню в декабре!

Торчат из-под наста колосья, как стрелы:
Взлетят, лишь тетивы спустить,
И ринутся ввысь — за земные пределы
Умчатся. И чем тогда жить?

Какая надежда, какая тут вера,
Какая тут нынче любовь,
Когда автоматы гвоздят у карьера
И поле, как бурая кровь.

Здесь плen и позор, прозябанье в страхе,
Пытальня, нещадная боль,
Извечный палаch (лишь не в красной
рубахе);
Тут смерть — чужеземцев пароль.

Но это ж морока, неладная думка:
Безгрешна невинная рожь.
Ты дедовский серп достаешь из подсумка
И стебли поникшие жнешь.



Зима опшелолая долго-предолго
Швырялась метельной бедой.

И все-таки поле набрякло, отволгло,
С живой повстречалось водой.

Сердяга-апрель распахнул телогрейку,
И солнце замедлило бег,
И высь разморозила вешнюю лейку —
Сминает неистовый снег.

Скулят, как щенки, холода под стрехою:
Недолго сосульки сосать.
Толкуют вечера под горушкой сухою
Комарики, искрам под стать.

И тихо-тихонько, и ласково очень
Ерошит скворца ветерок,
И пар, как дыханье, стекает с обочин,
И мир первозданный у ног.

Смеясь над железной пятой караула,
Весна наплевала на плen.
И в луже квакушка уже шуманула,
И всходит крапивка у стен.

С утра до потемок — желанно и ало,
И журки, как бусы, — с высот.
Теперь бы — в поля, где пестров до отвала!
Да немец до смерти прибьет.



Дошли мы вконец, о-ё-ёй напостились —
Нет мочи. А хлеба все нет...
Уже и ручьи в берега уместились,
Зажегся, зажил первоцвет.

На межах, паверно, кислица — с ладошку
И дудки в лощине — как рожь!
Мы съели б не всё, мы бы так, понемножку...
И рядом, да как тут сорвешь.

А время не терпит, катит себе прямо,
А солнце добрей что ни день.
И май лучезарит из вешнего хлама —
Пора соловьев и людей!

Уже и земля приготовилась к лету:
Ждет сева земля от людей.
А хлеба ни корки и зернышка нету —
В тифу не бывает лютей.

А тут, размалевана в цвет лягушкиный,
В саду маляра, у ворот,
Стоит пузатенная вражья машина,
И надпись на кузове: «Brot».

Та надпись манила к себе поневоле:
В ней тоже ведь — хлеб, хоть и «брот».
Мы ночью собрались в расстрелянной школе —
Пять душ, в оккупации — взвод.

Григорий скомандовал: — Смирно! Р-равняйся!
(Он был комиссаром у нас.)
Товарищ Иван, на часы отправляйся...
«Всем-всем. Совсекретно. Приказ:

Занять драндулет с продовольственным бротом
И сжечь для отпора врагу!
Удар нанести в ноль двенадцать всем взводом!
И чтоб опосля ни гу-гу!»

Удар угодил, как в окошко полено, —
Вполне подходящий удар.
Машина попалась сухая, как сено, —
Удался веселый пожар...

Сказал комиссар напр.: — Исполнено дело:
Сгорело — и в воду концы.
Спалили на совесть, работали смело.
Спасибо за службу, бойцы! —

Он дал мне буханку: — Иван обезножел —
Совсем с голодухи того.
Вручи ему бrot! Ну а мы переможем:
Потом поедим. Своего.

◆◆◆
Назавтра чуть свет, что исчадие ночи,
Вломилась в наш дом немчура.
Весь в черном, бранился
толмач-переводчик:
— Что делал, звереныш, вчера?..

Чего-то искали, из фляжек лакая,
Маманю секли по щекам;
И в красном углу, под божницей, икая,
Мочился эсэсовский хам.

На улице сонные фрицы молчали;
И сверстники сбились в гурток —
В испуге великому, в недетской печали;
И тишия вопияла: — Сын-о-ок!..

◆◆◆
Но вот и окончены сборы в дорогу,
И унтер, мясистый как фарш,
На лысину каску воздел двоерогу:
— Лос, шайзе!
— Заложники, арш!

◆◆◆
Заложники — десять мальцов, и едва ли
Нам головы нашивать впредь.
А раньше мы хлеб настоящий едали,
Умели смеяться и петь...

Нас взяли. Нас гонят. Хоть бейся, хоть майся,
Не выскользнутъ — стража кругом.
А Ванька-то, Ванька! Как крикнет: —
Спасайся! —

Как пустится в поле бегом.

«Не надо спешить», — всколыхнулся верзила
И в брюху спер автомат;
Лицо его бритым и ласковым было:
— Цурюк! Руссиш швайне! Назад! —

Он знал свое дело: он сцепал мальчонка,
Он сбил сапожищем его.
И всхлипывал друг наш тонюсенько-тонко,
И вздрагивал: — Оиньки-о-о!..

Как белый журавлик, он звал свою стаю,
Шуршал, будто сорванный лист:
— Я к маме хочу! Про машину не знаю...
Не бей меня, дядя фашист!..

Был выстрел не гулче хлопка,
не протяжней!
Как будто кто ветку сломал.
И пахло росой и черемухой бражной,
И солнце курган подымал.

Толмач засмеялся: — Все это видали?
Не хочет ли кто убежать?.. —
Тот фриц закурил, и нас дальние погнали.
А Ваня остался лежать.



Бетонные стены, железные двери, —
Подвал, как вонючий ушат;
Зубастые крысы — нахальные звери —
На мокром полу верещат;

Изгрызли все нары, совсем очумели:
Сожрали мои сапоги.
Коптилка из гильзы; ни вышки,
ни щели —
Липь слезы да ржавь со слеги.

С неделю мы жили кромешно и люто,
Не видя ни ночи, ни дня.
И вдруг отпустили ребят почему-то.
Оставили только меня.

Мне волю сулили, мне хлеб обещали,
Поили соленоей водой,
И кляться велели, и богом стращали...
С тех пор я, как выюга, седой.

Не знал я, что страх — всего лишь
полстраха,
Пока не остался один:
И дверь, как секира, и нары, как плаха,
И крысы скрежещут: «Съедим!..»

Текла чернота, каменела, змеилась:
«Хоть кто ты, хоть как разудал, —
Один ты, один — не надейся на милость:
Пропал ты! Пропал ты! Пропал!..»

И весь я пляшу, и по смертному краю
Иду, и дорога прямая.
Я весь онемел — даже крыс не туряю;
Мне трогает волосы тьма...

Очнулся я тише изловленной мыши,
Без мыслей, без воли, без сил.
— Воспрянул! Тесперича голову выше!
Не бойся, я — дед Михаил.

И теплые руки меня закачали,
И кровь побежала скорей.
— Жить будем, соколик! Не надо печали.
Суй пальцы за пазуху — грей.

Видать, с лихоманки, холодный как рыба.
Привстань, на меня обопрись.
А то, что откисся, за это спасибо.
Прими-ка сухарь, подкрепись.

О как тот комок на ладони дрожащей
Пылал, сожигая наш склеп!

— Да это же хлеб ведь, ржаной, настоящий!
Дедуля, откуда тут хлеб?

Мне голову дедушка тихо погладил:
— Мальчишеский мячик, сынок.
Не отнят, не хитростью взят, не украден —
Подобран, спасен из-под ног.

Ведь хлеб мы не все уважали, не всюду:
Я знал сорванца одного...
— Я помню.
Я понял.
Я больше не буду.
— Ну вот ты и поднял его.

Бывали к нам всякие, сгинут и эти:
Слаб ворог, с того и свиреп.
Тебе, человече, жить долго на свете, —
Держись двоеручно за хлеб!

Пред ним непокорные
главы склоняют;
Ему и сжигать, и гореть;
За хлеб убивают, и им воскрешают,
И можно за хлеб умереть.

Я плакал.
— Журись, время смирное — к полдню:
Спят изверги в эти часы.
Вернемся с допроса — открою, что помню.
Наплачусь, чтоб им — ни слезы.



Живем! Отлежался я после допроса,
Баланды испил и воды,

И кровь перестала сочиться из носа.
До будущей почи лады.

И вроде в застенке не так и кромешно,
И лучик — как тут он и был;
И дедушка Миша, певуче, неспешно,
Журчит: — Стародавняя былъ.

В моей стороне, на родиме-Вкраине —
Ты ведал бы — так-то добро:
Какие там луны, какие теплыни,
Какой там Славутич — Днipro!

Сычи полуночью забавятся в балке,
Спит степь, осиянно вокруг.
Бывало, сидишь у костра на рыбалке,
А рядышком Митя — мой внук.

Глядится на звезды, щебечет, бывало:
«Ой, диду, як гарно у нас!»
Тем летом тринадцать ему миновало.
Не спас я кровинку. Не спас.

Вы нравами схожи, окрещены горем,
Ровесники с тезкой, сынок...
Выходит, что сам я порушил свой корень:
Не спас, заступиться не мог.

С той горестью в сердце, и в помыслах
с нею
Живу, проклиная беду.
И помнить нельзя, и не помнить не смею.
Прости, коли слов не найду.



В ту пору земля горевала без дела:
Ни плуга полям, ни зерна.

В то время над нашей страной грозовела
Гражданская горесть-война.

Тевтоны топтались у самого дома.
(Те вороги — этим под стать.)
Я был председателем хуторревкома,
Имел и наган, и печать.

В почтении был — доложу
без бахвальства,
Событиям в корень глядел.
Со мной не гнушалось большое начальство
Входить в положение дел.

На хуторе нашем пшеница хранилась —
Три тысячи двести пудов:
Награда труду, упование и милость,
Надеюшка сирот и вдов.

Чужбинники сеяли смертное семя —
Огонь и свинец — в чернозем.
Сказали мне наши: «Уходим на время,
Иначе в котел попадем.

Редеют геройские красные роты
Под натиском прусских штыков.
И нет на сегодня главнее заботы —
Зерно уберечь от врагов!»



В степи пулеметы пришельцев частили,
Сжигая и ночи и дни...
А наши меня на восток не пустили,
Велели: «Пшеницу храни!»

«Хлеб в целости будет — крестьянское дело.
Спаси вас господь от огня!..»
А утром — еще и рассвесь не успело —
Забрали германцы меня.

Схватили хозяйку и дочку схватили,
И Митю,
И хату зажгли.
Нам руки связали и ноги скрутили,
И всех на майдан сволокли.

Блажной офицерик, тонкущий, как спица,
Пискляво брунжал: «Растопчу!
Куда из амбаров девалась пшеница?»
Что мог я ответить? — Молчу.

Молчу я три дня, и молчу я три ночи.
И выдумал проклятый тать:
«Поскольку вы есть несговорчивы очень —
Мы будем вас хлебом пытать!»

За стол усадили, к скамье привязали
И внука, и дочь, и жену.
И гору на стол поляниц набросали.
А тронь-ка хоть крошку одну.

Белела, душистая, близкого ближе,
Гора недоступная та.
Я денно и нощно доныне их вижу,
Те ломти — как локти у рта.

И день, и неделю, и целую вечность
Пред хлебом держали семью.
Дивились тевтоны: «О русс бессердечность!»
А я на коленях стою.

Дивились, ругались, просили, корили,
Грозились отдать палачу;
Что день — меня злыдни насильно кормили.
Что мог я поделать? — Молчу.

Старуха молилась, дочь слала проклятья,
А внучек все хлебца просил...
И кто это выдумал: «Все люди — братья»,
Какой фарисей возгласил?



Потом, когда больше на свете не стало
Ни Мити, ни дочки с женой,
Решил офицер: «Этим голода — мало».
И взвился огонь предо мной.

«Развязывать рты мы надежно умеем,
Хоть ты и молчун, и хитер...
Разуть его! Пятки на углях погреем».
И взял мои ноги костер...

А в ночь они драпали борзою рысью:
Ударил отмщения час.
Не выстрелил ворог: «За хлеб — пытка
жизнью:
Живи, чтобы помнить про нас!»

Да, наша земля приняла поруганья.
Но верит! Стоит! Не раба!
— А ноги-то как же?
— С того сожиганья
Мне лапти судила судьба.

Вестимо, обувка не больно нарядна,
Зато в ней без больно для пят;

В лаптях, как в бинтах, — и спокойно,
и ладно,
И шрамы не дюже горят.

С тех пор я покинул родиму-Вкраину,
Живу здесь и лапти ношу,
И зло ненавижу, и век не остыну,
И правде по правде служу.

И знай, мой Дмитрий, — за верность
и смелость
Любил тебя дед Михаил.
А грошой касательно — деньги имелись:
На Памятник Хлебу копил.

Не нынче, так завтра ты будешь на воле,—
Мать-землю сырку поцелуй,
Шепни: скоро цветь тебе, мертвое поле!
Воюй, да с войной не балуй!



В то лето сбесилась, рехнулась погода:
Жарынь да жарища одна.
И если б не кровь да не слезы, природа,
Наверно, иссохла б до дна;

Наверно бы, небо сгорело, как порох,
Земля бы от зноя спеклась.
Тем летом не только гранит на угорах —
Тень вязкая огненно жглась.

А к этому дню воскрепенье свершилось,
Дождем проливным пропустив.

Всю ночь небо грохало, лило, светилось,
Неистовый жар укротив.

И утро проснулось большим и веселым,
Прохладой залив окоем.
И солнце не жгло — согревало поселок,
И травы кипели: живем!

Всем только и жить бы, надеяться, верить,
Отраду в домах привечать!
Да вражьи приклады забахали в двери,
И плакала бедная мать...

Искали везде: никого не забыли,—
Пригнали на поле, к леску.
Нешибко кричали, почти что не били —
«Культурно» вгоняли в тоску.

Вокруг широко и торжественно было,
Окрестность покой окружал.
Под синшней осиной желтела могила,
И лист на осине дрожал.

И полдень дневал расхороший без меры,
И жалость дрожала в листке.
И пачкали хром господа офицеры —
Германский — в российском песке.

Его привели и поставили к яме
В разливе июльского дня.
Он, прежне могуч, неразлучен с лаптями,
Сказал нам: — Простите меня!

Сердца берегите, себя не стращайте,
Не помните старой вины. —
И до земи нам поклонился: — Прощайте,
Дочушки мои и сыны!

И ввысь поглядел. И в лице ни полтучки,
Что в небе, — лишь ласковый свет.
И лемех от плуга на ржавой колючке,
Как щит, был на шею надет.

И красною краской на лемехе черном
Начертано: «Я — партизан».
И словно литые пшеничные зерна —
По шее. На пашню. Из ран.

И поднял он руки, в железо одеты,
И принял с усмешкой свинец.
И брови косматые строжили деды,
И бабы взывали: — Отец!..

III. СТЕЗЯ

С петлею на шее, кровавя седины,
Неволею смрадной дыша,
Не день и не месяц — четыре годины
Ждала, не изверясь, душа.

На что уповала ты, мукой объята?
Какого спасенья ждала?
Но — даже распятая — верила свято,
Затем что душою была.

Молящие руки, скорбящие очи,
Разгул цепелящего зла,

Гнетущий позор, леденящие ночи
Душа, изнывая, снесла.

И встала, дни мирные благословляя,
Святая на грешной земле, —
Суровая, чистая, злинкой не злая,
В прискорбии, в шрамах, в золе.

Велела: все вылечит времени замять,
Прошедшего не воскресить.
Всем павшим и сгинувшим вечная память!
Всем сущим завещано жить!

Жить надо, жить будем, а как же иначе —
Май властвует: «Сеять пора!
Я тут ненадолго. Всем сущим удачи!»
А вокруг — ни кола, ни двора.

А сущих в поселке набралось не дюже —
Всего-то сто душ с небольшим:
Детва да бабенки, без батьки, без мужа,
Бездомных. Но май нерушим.



Шел май — чудодей сорок пятого года,
Столетья двадцатого бог.
Удушенный мир врачевала Свобода,
Сводила потери в итог.

Еще прорыдали на каждой могиле,
Повсюду — железо и грязь,
И голод. Но люди живые бродили,
Дышали — дышать не страшась.

И небо не «юнкеры» жгли — светозорья,
И жизнь уж не мачеха — мать!
В воскресный денек, без печали и горя,
Пошли мы щавель собирать.

Стучалось легко и неслышно сердечку,
И солнце играло: «Встаю!»
Пришли мы на Узу, вступили на речку —
На главную нашу струю,

На берег, где выпало счастье родиться,
На диво живое в горсти,
На ту магистраль, у которой водица
Поможет себя обрести.

Зажжет тебя далью тропа вдоль откоса,
Встревожит зазывчивый дрозд:
Проляжет большак от заглохшего плеса,
От детства — на тысячу верст.

Все помнит мать-Родина, ведает, видит
И любит нас поровну всех:
В добре не обделит, в беде не обидит;
Ей горе — содеявший грех.



Был полдень, наверно, а может — и позже.
Палили былье за рекой.
В воде смолянистой ни бега, ни дрожи,
Ни плеска, ни всплеска — покой.

Еще не пробились на волю кувшинки
Для ласки, для солнечных дел,
Но дым в сухотравье горчил, как поминки,
И лес уже платье надел;

И время размаяло зверя и птицу;
И — плелай по гладень-песку!
Но мы собирали не просто кислицу —
Щипали на жизнь по листку.

И вот, посредине приречного луга,
В низинке, где цвел курсолец,
Машину добыли мы — лемех от плуга,—
С чего начинается хлеб.

Сказал нам Григорий: — Находка что надо:
Ручаюсь хоть чьей головой,
Что будет правленье довольно и радо!
Кончайте вожжаться с травой!



Полдюжины плугов осталось в колхозе
Да пара заезженных кляч.
А поле вспаши, хоть угрожайся оземь,
А сеяться надо, хоть плачь.

А силы не лишek: без ветра качало
С харчей «витаминных» сельчан.
Конечно, и травка — еда для начала,
Когда бы — краюху к тем щам.

Нет в мире сравнения с хлебом насущным,
Хоть он незаметней всего.
И ныне, и в солнечном нашем грядущем
Да светится имя его!

Но хлеб, как дитё, — его вынянчить нужно.
А чем он отплатит — бог весть...
В плуг пятеро женщин впрягались дружно.
О русская доблесть и честь!

В поля поспешали ранешенько-рано, —
Как деды и прадеды встарь,
На совесть вели борозду, без изъяна, —
И в зной, и в дождливую хмару.

Работали все, от велика до мала,
Земле отдавались совсем.
Нам вера с любовью сердца согревала.
Вот так бы! Теперь бы! Да всем!



Мудрейшее дело, пречестное дело,
Бессмертное дело —
Страда.
Тебе ни границ, ни преград, ни предела,
Безмерное счастье труда.

Мирское горенье, крылатая радость,
Людей работающих родство
И тихой усталости терпкая сладость —
Простого труда естество.

От жизни не скроешься за поворотом,
Не спрячешься в частых кустах.
Рубахи и кофты, беленные потом,
Шершавая соль на устах;

Невеста босая, седая вдовица,
Младенец, бредущий в пыли:
Ветрами и солнцем дубленные лица —
Прекрасные чада земли.

Нагрелись чапыги, впаялись в ладони,
В глазах кипятковая хмаря...

Ах времечко-бремечко, бабоньки-кони,
Дружище мой — Гриня-плугарь!



Двадцатого мая победного года,
Чуть в поле проклонулся день,
Проснулась, взошла, задышала работа —
Пахали пустыри под ячмень.

Пахали, заклеклую землю вздымали
Простым агрегатом — горбом.
Тяжеле работа бывает едва ли,
Чем пахота та под бугром.

Гудело в ушах, каменели колени,
Скрипели, трещали хребты.
А нам — ни унынья, ни страха, ни лени:
Не будет земли-сироты.

А ветрик все тише, а солнце все выше, —
На речке б мальчишкам блажить...
В июне шестнадцать бы стукнуло Грише,
До паспорта — месяц дожить.

Да вот не отпраздновал красную дату
Вожак наш и наш комиссар:
Разверзлась земля, покатилась по скату,
И дым хлыбистнул, и удар!

И небо обрушилось глиняным градом,
И день содрогнулся: «Я жив?..»
И страшно молчали с Григорием рядом
Пять женщин, свое отслужив.

И в бурой воронке, вся в красном тумане, —
Мой суд и спасенье мое, —
Раскинувши руки, лежала маманя,
И Гриша глядел на нее.



Смерть смертью поправшим вселенская
память —
Преславней любого венца.
А жизнь не убить, хоть легко ее ранить,
Обидеть, — все нет ей конца.

И мы, хоть в каких передрягах пребудем,
Жить будем во веки веков.
Такая уж доля назначена людям
Землею. Закон уж таков.

Всевечное мчанье, — хоть гладь, хоть ухабы, —
Трясись, ошалело лети...
Жизнь жить заставляла: отплакали бабы, —
До слез ли тут — сев впереди.

Крестьянское сердце, заботное сердце,
Кровь буйная робко-смирна,
Ведь было без хлеба тебе не согреться,
Но ты не сожгло ни зерна.

Дрожало дрожмя изнемогшее тело,
И пек его черный огонь;
А сердце терпело, а сердце велело:
До время — до сева не тронь!

Большие, как поле, надежные души,
Родные, как Русь, имена,

Ничто не могло вашей воли порушить —
Наестся, убив семена:

Ни голода муки, ни смертная участь,
Ни слезы зачахших ребят.
Хранили зерно, дожидаясь и мучась,
Потупивши горестный взгляд.

Теперь же — без просьб, без речей, без приказа,
Без всяких послул и угроз —
Несли: кто мешок, кто карман, кто полтаза;
Кто рожь, кто — горох, кто — овес...



Грех плакаться: Родина нас не забыла —
Прислала коней и зерна.
И люди вздыхали: «Что было, то было»,
Баюкали память: «Война».

Из плена спасенные добрым народом,
Обласканы ярой грозой,
Поля откликались неистовым всходом,
Смеялись пречистой росой.

Дышала земля, чудотворство свершая,
Сердца человечьи родня,
Считала денечки до дня урожая —
До самого жданного дня.

И чуткими ночками, будто жар-птицы,
Остиночки не опалив,
Тревожно и любо играли зарницы
И нежили хлебный разлив.

И свежие срубы притихшей отарой
Являлись при вспышках зарниц.
И пахло волнующе хлебной опарой,
И брызгало светом жар-птиц.

Цвели хлебозорки, светило трудилось,
И дождик в достатке кропил...
И вот оно — сбылось, достигло,
Свершилось —
Свет-август на ниву вступил!



Жнитво! Работяг зачерствелые руки,
Заступа родимых полей.

«Жить будем! — твердили серпы
по округе. —
Жить будем, лишь рук не жалей!»

Строчила косилка, жужжали две жатки,
И косы гуляли окрест.
Все выжав из рук, жал народ без оглядки,
Неся лучезарно свой крест.

На ниве дурить не умели, не смели:
Ни сноп не сгубили, ни злак.
Не с водки-вины — от работы хмелели.
Вот всем бы! Теперь бы! Да так!



Листва в догоранье, сентябрь на исходе —
Остуда, прозренье, светлынь, —
До новой весны усыпленье в природе.
Душа, от забот поостынь.

Не синь — голубень, журавлиные клики:
О далях, о прожитом грусть.
Тяжелые руки, усталые лики.
Вздохни, запаленная грудь.

Задумки — большие и малые, — сбудьтесь,
Гость светлый, взойди на крыльцо;
Тревоги, улягтесь, печали, забудьтесь,
Улыбка, вразрадуй лицо.

Не будет разлуки: в грядущем —
Лишь встречи,

Свершения, годы и труд.
Оно не изменит, оно недалече —
Что сущие счастьем зовут!

Себя не горюньте, других не корите:
Чиста она, совесть, у вас.
В амбары идите, зарплату берите:
По гарнепу жита — аванс.



Сладчайшие дымы кружили в поселке,
В загнетках сияли угли:
Времянки, избенки, землянки, светелки —
Все новые хлебы пекли.

Хоть было стучать тебе больно и страшно
В цапучих когтях декабря, —
Ты верило, вешнее сердце, не зряшно,
Ты знал: за ночью — заря.

Ты воли, ты нового хлеба дождалось,
В былом не сгорело былье.
И что там мозоли, и где там усталость,
Когда каравай в жилье.

Они воздымались, как солнца большие,
Дышали на мытых столах, —
Свои насовсем, ни чуть-чуть не чужие.
Хлеб — правда о наших делах.

Не отнят, не выпрощен, не уворован —
Своими руками рожден;
Самою землей за раденье дарован.
И радость на лицах — дождем.



В обнимку, траву в инеёк наряжая,
Злат листья ссыпая в кошки,
Грустила-октябрь и День Урожая
На тихую землю пришли;

Пришли, протянув расторопные руки,
У всех застучали ворот,
Позвали: «Отпразднуем, верные други, —
Заслужен твой праздник, народ.

Все миром скорбели, трудились все вместе,
Идите к веселым столам:
Всем поровну места, всем поровну чести,
Хлеб-соль и вино пополам!»

Народ не рядился, народ нарядился —
Веселье в чести на Руси, —
Не мешкал: сбегался, съезжался, сходился.
Все в клубе — проси не проси.



И праздник пошел, обрывая постромки,
Вчерашнему лиху назло.

И два гармониста в две любушки-хромки
Гремели, аж небо трясло!

И в круге солдатик — защитник народа —
Ногой-деревяшкой стучал.
О дети России, родная порода,
Край отчий — начало начал.

Пол ахал, крестились блаженно старушки,—
Веселье! Народу битком!
И пела вдова-голосунья частушки,
И выюжила белым платком...

— Ну дáла! Ну Дарья!..
— Что пляшем, что пашем!.. —
Но встал председатель: — Друзья!
Пойдемте на поле, поклонимся павшим:
Сегодня иначе нельзя.

Они — за селом, не в сторонушке дальней.—
И мне: — Ты оделся б, сынок.—
(Он стал мне отцом с той поры

горевальнойной.)

Он первым шагнул за порог.



Мы шли за поселок примолкшей дорогой,
Где шли они жизнь защитить,
Где деды ходили с сохой тупорогой,
Где детям и внукам ходить.

На воле смиренная осень стояла,
Туманясь приглашенным днем.
И только рябина да куст краснотала
Горели кровавым огнем.

Средь озими ярой, на ласковом месте —
На взгорке, — как восемь постов,
За смертной оградой — все рядом,
все вместе —
Дежурили восемь крестов.

Не в пашне — в Земле, под небесною
крышой,
Нашли и приют свой, и кров
Григорий, и мама, и дедушка Миша,
И Ваня, и четверо вдов.

Исполнившим долг свой не надобно стонов
(И слезы по ним — не вина):
Навеки — среди двадцати миллионов —
Означены их имена.

А вам, люди добрые, делу и дому —
Завидная доля и даль!
Сердца не горюньте. Но сердцу живому
Не дадено вынуть печаль;

Не дадено сердцу утратить утраты,
Забыться, тем более — здесь.
Смахнули слезу старики и солдаты
И — «смирно!», и отдали честь.

Заохали бабы: — Родные, простите,
Что вас не сумели сберечь!
Мы целы остались, за то не судите...
И сторож сказал свою речь:

— Вы точно и правильно жизнь разумели,
Не знали собой дорожить:
Радели о близких, о долгге, о деле.
Вот всем бы! Да так бы служить!

СОДЕРЖАНИЕ

Владислав Шошин. Стезя Игоря Григорьева . . . 3

ЛИРИКА

«Зажгись глаголом песнопенья!»	8
В давнем	9
«Дорогие лесные пустыни...»	10
«Не прибыльна песня об этом...»	11
Вешняя ночь	11
«Я чегой-то сник в печали...»	12
«Разлука-даль стихи слагает...»	13
«Мне бедный лог, осенний лог...»	14
«Чтоб сердечней биться...»	15
«Большой закат на вечер малый...»	16
«Позвала к открытому окну...»	16
«Да неужель мы хуже лебедей...»	17
Оправданье	17
Блудный сын	18
Начало Пскова (Из поэмы «Зажги надежду»)	19
«Немы и пусты...»	23
«Октябрь в низинном захолустье...»	23
«В жар-июль, в разгар покоса...»	24
Перед июнем	25
Доброта цветов	26
Одуванчики	26
Иван-чай	26
Чертополох	26
Вереск	27
Просто бутоны	27
Подорожник	27
Грачи	27
Ситовицы	28
«В августе рассвет на ногу нескор...»	30
«Я в русской глухомани рос...»	31
«Когда мы были очень юными...»	32
Во времена года	33
За цветенью	33
За листопадом	33

За выгой	34
За паводком	34
Осколок	35
«Как ласково день догоревший...»	35
Красуха в 1943-м	36
Последний большак	37
«Поклон, поклон, ржаное поле...»	38

ПОЭМА

Жить будем	40
I. Светлынь	40
II. Потемки	56
III. Стезя	73

Игорь Николаевич Григорьев

СТВЗЯ

Новые стихи

Редактор Л. И. Малыков. Художник Е. М. Воробьева

Художественный редактор А. К. Тимошевский

Технический редактор Г. В. Преснова

Корректор Т. В. Мельникова

ИБ № 2119

Сдано в набор 24.11.81. Подписано к печати 11.02.82. М-17448. Формат 70×90^{1/32}. Бумага тин., № 1. Гарн. об. новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,22. Усл. кр.-отт. 3,44. Уч.-изд. л. 3,30. Тираж 25 000 экз. Заказ № 351. Цена 40 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград,
Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография
им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.